

ОТЗЫВ
официального оппонента
о диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Подковырина Юрия Владимировича на тему:
«Инкарнация смысла в практике художественного письма»
по специальности 5.9.3. – Теория литературы.

Время от времени в науке (и особенно в гуманитарной науке) возникает потребность в прояснении категорий, которые выглядят аксиоматичными, неопределяемыми, как «точка» или «прямая» в геометрии. Вне всякого сомнения (и с автором диссертации здесь можно только согласиться) к числу таковых относится и категория «смысла» для филологии или, вернее, для литературоведения. И уже в силу этого постановка задачи подобного рода сама по себе отличается никуда не исчезающей, перманентной актуальностью. Этим же сполна обеспечивается и научная новизна защищаемой работы, поскольку в рамках литературной теории никто пока (и проделанный Ю.В. Подковыриным обзор истории вопроса убеждает в этом) не пытался подвергнуть категорию «смысла» полноформатному изучению.

Разумеется, избрание в качестве объекта исследования столь ускользающего понятия влечет за собой самые разные проблемы (и об этом в отзыве еще пойдет речь), но одну из них стоит обозначить сразу. «Смысл» – категория явно интернациональная, не замкнутая в кругозоре одного национального языка. Поэтому неизбежный вопрос, которым нельзя не задаться, – установление эквивалентных русской лексеме «смысл» терминов в других национальных языках и в метаязыках (философских, логических, психологических, филологических и т.д.), сформировавшихся на их основе. Без этой процедуры представляется затруднительным поиск возможных союзников и противников в понимании категории. К примеру, в русском переводе название программной для развития семиотики статьи Г. Фреге звучит так – «О смысле и значении». Оба этих термина (особенно «значение») плохо соотно-

сятся с привычными дефинициями русских толковых словарей и еще хуже – с тем, как соответствующие слова используются в отечественном гуманитарном знании – за пределами того круга работ, который ориентирован на русскоязычную огласовку статьи Фреге.

Разрешение такой отчасти науковедческой, отчасти переводоведческой проблемы – конечно, отдельная задача, но проблему эту нельзя не иметь в виду, обращаясь к мировым практикам интерпретации того, что такое «смысл». С учетом этого кажется разумным ограничение рефлексии над «смыслом» отечественной литературоведческой традицией. И внутри этого поля диссертация Ю.В. Подковырина успешно достигает поставленной цели. Несмотря на сложный, а иногда и избыточно стилизованный – в духе раннего Бахтина – язык исследования оно отличается ясностью мысли и продуманностью композиции. Отдельно нужно сказать об идеально написанном автореферате, который воспринимается как очень удачный, семантически соразмерный диссертации ее дайджест. Такая способность к компрессии идей – очевидное свидетельство внятности и глубины их осмысления.

Вторая центральная категория, рассмотрению которой посвящены второй параграф первой главы и вся вторая глава, – «инкарнация», «воплощение». Ю.В. Подковырин закономерно ссылается на богословские истоки этой категории и на работы Г. Марселя и Бахтина. И здесь хотелось бы сделать две ремарки.

Общеизвестно, что в первые века христианства шла ожесточенная полемика вокруг того, как следует понимать воплощение, и помимо версии, утвердившейся в догматике основных ветвей христианства, были предложены разнообразные толкования, объявленные впоследствии еретическими. Причем эти споры не остались только фактом истории. Так вот, вопрос заключается в том, действительно ли смысл обязан воплощаться в соответствии с канонически закрепленной интерпретацией воплощения или нет? Напомню в связи с этим, что, когда Бахтин выстраивал свою иерархию «пер-

вичный автор – вторичный автор – герой», он опирался на теологию Иоанна Скота Эриугена, Римской церковью не одобренную. Если это возможно в случае автора, то и литературный смысл мог бы позволить себе не придерживаться догматики.

И еще одна ремарка терминологического и библиографического характера. Действительно, Бахтин регулярно прибегал к категории «воплощения», которая, как и все бахтинские термины, варьируется его текстах в достаточно широком семантическом диапазоне. И то, как работает у Бахтина эта категория, не раз становилось предметом изучения. Сошлюсь на несколько работ, которые можно было бы привлечь для обсуждения: Бочаров С.Г. Книга о Достоевском на пути Бахтина // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004; Coates R. Christianity in Bakhtin. Cambridge, 2004; Pechey G. Mikhail Bakhtin. The Word in the World. London; New York, 2007; Фаустов А.А., Козюра Е.О. Воплощение голоса: вокруг одного бахтинского термина // Порядок хаоса – хаос порядка. L'ordre du chaos – le chaos de l'ordre. Сборник статей в честь Леонида Геллера. Hommages à Leonid Heller. Bern, 2010.

Разговор об инкарнация смысла – и в этом большое достоинство диссертации – выводит и на куда более общие темы. Категория «смысла» не только интернациональная, но и интердискурсивная. В первом параграфе первой главы Ю.В. Подковырин отстаивает мнение о специфичности художественного и, в частности, литературного смысла, к которому возможно приблизиться лишь в акте диалогической коммуникации с ним. А во второй главе утверждает, что в процессе эстетической деятельности происходит, как это назвали бы немецкие романтики, «потенцирование» жизненного смысла, его художественное исполнение: «Автор, творя героя, не «продуцирует» этим самым смысл его жизни, но способствует раскрытию того смысла, который этой жизни – как она есть – присущ. Чтобы быть понятой эстетически, жизнь должна *иметь* эстетический смысл» (с. 130).

Оба этих тезиса заслуживают самого серьезного внимания и провоцируют на их дальнейшую экспликацию. С одной стороны, можем ли мы говорить о том, что существует некий универсальный, «надмирный» смысл, который обретает своеобразие, получая определенное дискурсивное выражение – идеологическое, научное, религиозное, художественное и пр.? С другой стороны, если мы согласимся, что в жизни потенциально присутствует эстетический смысл, то в каком направлении мы должны сделать следующий шаг? Один вариант (вполне известный истории культуры) – это провозглашение панэстетичности жизни. Другой вариант (и его, наверное, принял бы Бахтин) – признание того, что в жизни также потенциально присутствуют, скажем, гносеологические или этические смыслы, и реализуются они в том или ином нашем действии, в поступке. А это, в свою очередь, снова возвращает нас к развилке, только что означенной в чуть другой редакции. Перед нами тогда изначально разные потенциальные смыслы или некий единый смысл, который специфицируется при попадании в поле соответствующей деятельности – гносеологической, этической, эстетической и т.д.?

В третьей – кульминационной – главе диссертации Ю.В. Подковырин исследует то, как совершается инкарнация смысла в структуре литературного произведения. Автор избирает тут логику, восходящую, в конечном счете, к уровневой концепции, которую выдвинул Р. Ингарден и которую впоследствии взял на вооружение, превратив в инструмент литературоведческого анализа, А.П. Чудаков в своей замечательной книге «Поэтика Чехова». Глава движется, спускается по трем ступеням: пространство-время, сюжет, словесная организация. Как кажется, глубинным образом такая тернарность отсылает и к бахтинскому «Автору и герою...», где последовательно описываются пространственная форма героя, его временное целое и целое смысловое. Было бы очень интересно проследить, как соотносится модель Бахтина с моделью автора диссертации, но это задача не для жанра отзыва. Мы же остановимся на другом.

В уровневых теориях литературного произведения, как и, например, в нарратологии В. Шмида или в различных версиях генеративной / когнитивной поэтики, словесная оснастка – это один из слоев наряду с другими. Очевидно, однако, что при таком подходе вербализация невольно оказывается техническим средством развертывания нарратива, его презентацией, конечной станцией. А это противоречит тому элементарному обстоятельству, что литературное произведение (в отличие от произведений всех прочих искусств) без слов существовать просто не может. Словесный уровень – не итог, а начало литературы. В диссертации Ю.В. Подковырина, как кажется, предпринимается попытка такое противоречие снять. Автор объясняет это как изменение в литературе природы и назначения слова – как онтологизацию слова, сопровождающую онтологизацию смысла: слово при этом «...переносится в тот же план бытия, к которому относятся обозначаемые им предметы, а его семиотическая функция хотя и не устраняется, но перестает быть основной. С другой стороны, в литературном произведении имеет место вербализация самого изображенного бытия: оно приобретает качества слова» (с. 261).

То, что слова и обозначаемые ими (а правильнее было бы сказать – создаваемые ими) референты в литературе предельно сближаются и как бы обмениваются своими качествами, выглядит очень убедительно. Едва ли, правда, целесообразно столь сужать юрисдикцию семиотической функции. И эта поправка относится в одинаковой мере к тому, как на с. 253–254 воспроизводится логика «Структуры художественного текста» – книги, финальной для первого этапа лотмановского понимания текста. Лотман в ней довершает (не лишённые внутренних противоречий) размышления о том, как в литературе – одной из вторичных моделирующих систем – осуществляется выход естественного языка за органически присущие ему (согласно учению де Соссюра), первичные пределы. В очень сжатом и спрямленном изложении мысль Лотмана сводится к тому, что в художественном тексте синтагматическая ор-

ганизация становится (и дальше даются два не совсем совпадающих ответа) семантическим фактором или же механизмом порождения образов. И главное, что обеспечивает такую возможность «выхода за», заключается в том, что в литературе естественный язык утрачивает свою дискретность (все его чисто служебные, реляционные элементы в тексте перестают быть таковыми) и тем самым обретает свойства континуальные, которые для Лотмана и являются равносильными иконичности. Под таким углом зрения модель Ю.В. Подковырина на деле оказывается не столь далекой от лотмановской. И некоторые выводы, формулируемые в главе, в свете этого могли бы быть скорректированы – к примеру, тезис о том, что «...дискретная структура словесного высказывания позволяет с особой отчетливостью высветить *континуальный* характер инкарнированного художественного смысла» (с. 261). Континуальность начинается раньше.

В четвертой главе диссертации автор сосредоточивается на собственно герменевтических – рецептивных или, как выразился бы П. Рикер, рефигуративных – аспектах воплощения смысла. Сквозным для главы является терминологическое разграничение «понимания» и «интерпретации» как двух модусов рецепции. Не задаваясь сейчас вопросом о том, насколько удачно такое противопоставление с чисто лексической точки зрения, обратимся к сути дела. Понимание для Ю.В. Подковырина – дорефлексивное приникание к инкарнированному смыслу, а поскольку смысл для автора диссертации – нечто принципиально персональное, то это дает в сумме такую идею: «Читатель в процессе рецепции проживает изображенную автором и воображенную им – читателем – жизнь героя, понимая таким образом ее смысл» (с. 290).

Подобный взгляд на вещи ставит перед нами, по меньшей мере, три проблемы. Одна имеет отношение к размерности художественного смысла. Если смысл всегда воплощается в целом, то что это за целое – судьбы героя, литературного произведения (как многоуровневой структуры), авторского мира, картины мира той ли иной литературной эпохи и т.д.? Или, в другой

перспективе, можно ли представить себе, что смысл как таковой не персонализируется или, по крайней мере, находится за пределами какого бы то ни было образного проявления – как первичный автор у Бахтина или концепированный автор у Кормана?

Вторая проблема связана с тем, как нужно воспринимать качества герменевтической деятельности (приобщение, встречу, всматривание и т.д.) и соотношение между пониманием и интерпретацией? Можно ли здесь усмотреть описание того, как эта деятельность разворачивается во времени – в соответствии опять-таки с одним из двух возможных сценариев: 1) сначала – понимание, потом – интерпретация; 2) сначала – один акт понимания (запускающий работу первого качества рецепции), потом – соответствующий акт интерпретации; и дальше по цепочке? Или же понимание и интерпретация – две разные деятельности, два разных режима рецепции, независимых друг от друга? И это выводит нас на один вопрос из области практического литературоведения. Когда филолог приступает к литературному произведению (когда, например, Ю.В. Подковырин в начале большинства разделов диссертации занимается – и, как правило, очень удачно – аналитикой тех или иных конкретных текстов), это нужно квалифицировать как интерпретацию? Или как интерпретацию, наслаивающуюся на понимание? Или как-то еще?

И этот последний вопрос приближает нас к третьей проблеме – метаязыка, с помощью которого можно вербализовать понимание. Если понимание – это причастность целому, его проживание, то возможно ли такая вербализация вообще? В традиции от Жуковского до Витгенштейна (а между ними был еще и Дильтей, с его разграничением понимания и переживания) ситуация выглядит именно так: здесь должно говорить лишь молчание. Или же мы не должны придерживаться подобной парадигмы? Но, в таком случае, каким должен быть аутентичный пониманию метаязык его выражения?

С этой точки зрения было бы любопытно сравнить позицию автора диссертации и позицию влиятельного филолога, историка культуры, теоре-

тика феминизма Р. Фельски, изложенную, в частности, в ее недавних книгах: Felski R. Critique and Postcritique. Durham; London, 2017; Felski R. Hooked: Art and Attachment. Chicago; London, 2020. Ю.В. Подковырин отталкивается в построении своей герменевтики смысла от того, что он называет непозитивистскими подходами. Р. Фельски стремится преодолеть избыточный интеллектуализм того господствующего в американском литературоведении направления, средоточием которого является «герменевтика подозрения», в ее постструктуралистской редакции. И магистральная идея Фельски состоит в том, что филология должна отказаться от культивируемого этим направлением пафоса дистанции от своего объекта. Критика должна признать, что процесс постижения произведения искусства начинается с другого – с попадания воспринимающего лица (кем бы оно ни было) на крючок текста, с привязанности. Почва, на которой вырастает интерпретация, – это аффективность, роднящая академического исследователя с обычным читателем. Так вот, если переформатировать эту идею Фельски, нельзя ли предположить, что метаязыком понимания и может послужить язык описания аффектов?

Резюмируя все сказанное о достоинствах диссертации, особо отметим, что ее чтение оборачивается диалогом с ней, от которого трудно отказаться. И это во многом вызвано, как кажется, тем бахтинским началом, которым проникнута работа. Несомненная заслуга Ю.В. Подковырина заключается, помимо прочего, в том, что он предпринял очень плодотворную попытку демусеификации наследия Бахтина, обратив мыслителя в своего (и нашего) живого собеседника. Получат или не получают распространение терминологические новации автора диссертации, покажет время. Но то, что Ю.В. Подковырину удалось внести свой вклад в теорию литературы и построить оригинальную герменевтическую модель экспликации художественного смысла, представляется вполне бесспорным.

Содержание автореферата соответствует основным положениям и выводам диссертации. Основные результаты работы опубликованы в 24 изда-

